

## II. ОБЗОРЫ И РЕФЕРАТЫ

*E.O. ОПАРИНА*

### ПЕТЕРБУРГ И ЕГО СЕМИОСФЕРА: К ПРОБЛЕМЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Убеждение в отсутствии у Санкт-Петербурга предыстории прочно вошло в традиционную систему представлений и стало частью петербургского мифа, начало которому было положено пушкинским «Медным всадником» с его строками о «пустынных волнах». Это убеждение не является обоснованным в историческом плане, однако в плане символическом оно вполне закономерно. Санкт-Петербург изначально замышлялся Петром I как реализация рационалистической утопии, как идеальный искусственный город, воплощающий разумность «регулярного государства» и открывающий новый период в российской истории. Такая установка означала отрицание исторически сложившихся структур, стремление уйти от предшествующего опыта, и ей вполне соответствовала идея строительства нового города на новом месте, якобы свободном от традиций и груза прошлого (Спивак Д.Л., 2003а).

Однако такое утверждение открывает лишь часть интенций, стоявших за идеологией основания новой столицы. Изначально идейное бытие и предназначение Санкт-Петербурга мыслилось царем и его современниками в поле культурно-исторических и политических ассоциаций. Если иметь в виду русский круг ассоциаций, город воспринимался и как преемник Москвы (новый царствующий град), и как преемник Новгорода (что подчеркивало право России на приневские земли), и как преемник Архангельска (необходимые России торговые «ворота» в Европу). Из европейских явны были

ассоциации с Амстердамом и Венецией (как с городами, неразрывно связанными с морем, а в связи с Амстердамом – и как с идеалом «регулярного» города, которого Петр I стремился достичь в своей новой столице). Однако Петербург – это и новый Рим, «третий Рим», столица новой империи, где, как в императорском Риме, все, в том числе и святость, подчинено идею служения государству (Лотман Ю.М., Успенский Б.А., 1993).

При этом «город, созданный “вдруг”, мановением руки демиурга, не имеющий истории и подчиненный единому плану, в принципе не реализуем» (Лотман Ю.М., 1992б, с. 13). Человек неизбежно создает вокруг себя некоторое культурное пространство, организующее его пространственную сферу и включающее в себя идеиные представления, объекты искусственно создаваемого мира, а также историческую память, которая хранит, перерабатывает и постепенно увеличивает объем знаний. Город как центр и генератор культуры представляет собой вид **семиосферы** – семиотического пространства, заполненного знаками культуры, разноустроеными и гетерогенными, принадлежащими разным знаковым системам, языкам и разным уровням (например, архитектура, фольклор, литература, живопись и т.д.). Городу как семиосфере, как пространству обитания человека необходимо прошлое, необходимы свой культурный субстрат и культурный текст. В случае Петербурга проект рационалистического города-утопии привел к обескураживающему по отношению к первоначальной интенции результату: миф кинулся заполнять семиотическую пустоту. Ситуация нового столичного города «на краю» Российского государства оказалась исключительно мифогенной и, шире, культурогенной. Петербург стал местом исключительно интенсивной культурной и интеллектуальной жизни и при этом пространством культурно-семиотических контрастов, в котором многое стало развиваться совсем не так, как замышлялось его основателем. Достаточно упомянуть отмечаемый многими исследователями факт: рационалистический по замыслу город-утопия, «воплощение порядка» превратился в своей мифологии и в своем тексте в самый фантастический, фантасмагорический город мира, в котором главным движущим механизмом сюжета является тайна (Лотман Ю.М., 1992б; Топоров В.Н., 2003; Иванова Н.Б., 2000).

Ю.М. Лотман отмечает, что еще задолго до того, как русская литература XIX–XX вв. сделала петербургскую мифологию феноме-

ном национальной культуры, реальная история города, повседневная жизнь и представления горожан были пронизаны мифологическими элементами: исключительную роль в городском фольклоре всегда играли устные рассказы и слухи о необычайных, большей частью страшных, происшествиях. При этом одна из особенностей петербургской мифологии заключается в том, что она как бы подразумевает взгляд со стороны, то есть наличие некоего внешнего наблюдателя и соотнесение себя с ним. Это может быть либо *взгляд из Европы*, либо *взгляд из России/Москвы*; одновременно формируется и противоположный вектор — *взгляд из Петербурга* на Европу или же на Россию/Москву. Соответственно этим точкам зрения Санкт-Петербург воспринимается как *Европа в России* или как *Азия в Европе*. Обе точки зрения, по мнению Ю.М. Лотмана, предполагают утверждение неорганичности, искусственности петербургской культуры (Лотман Ю.М., 1992б). Однако непременное конструирование позиции внешнего наблюдателя можно трактовать и как присутствие в самосознании города представления о поликультурности окружающего его мира, о пограничном характере своего собственного географического и культурного пространства, в котором скрещиваются элементы разных по происхождению культурных миров, традиций и кодов.

Своеборазное географическое и geopolитическое положение Санкт-Петербурга определяет многое в его «пограничной», принципиально *эксцентрической* (т.е. удаленной от центра) культурной топографии и мифологии. Эксцентрический город расположен на краю культурного пространства, он актуализирует антитезу *естественное – искусственное*, что изначально дает возможность двойкой интерпретации факта его создания: как победы Разума над Природой, Стихии, но и как извращения естественного порядка вещей. Архетипом ситуации создания эксцентрического города является древняя индоевропейская мифологема **Акта Творения на Краю Космоса и Бездны**, которая, будучи универсальным культурным кодом, трансформируется и адаптируется локальными редакциями. В случае Санкт-Петербурга эта мифологема может быть конкретизирована как **Акт Творения на Краю Океана Гипербореев, на Пределе Северного Культурного Пространства**. Непременным мотивом этого мифологического архетипа является сюжет жизнетворящего **Поединка Демиурга с Противником**, что в петербургской мифологии нашло выражение в пластике и тексте Медного всадника (Лебедев Г.С., 2000).

Весьма знаменательно метафизическое переосмысление идеи *края, границы* в петербургском тексте русской литературы XIX–XX вв.: выявляя квинтэссенцию петербургского текста, В.Н. Топоров формулирует ее как информацию об опыте жизни, спасения и возрождения в ситуации на грани смерти, над бездной, на пределе человеческих возможностей (Топоров В.Н., 2003).

Представление о строительстве Петербурга на пустом месте, об отсутствии у него предыстории с исторической точки зрения не является верным. В действительности город встал на древнем историческом фундаменте, заложенном за тысячу лет до его основания. Ряд исследователей полагают, что его следует рассматривать как феномен особой **Балтийской цивилизации**, возникшей в результате соединения на севере Восточной Европы славянского, финского и скандинавского культурного потенциалов. Это культурно-историческое единство, возникшее и пережившее расцвет вокруг Балтики в VIII–XII вв., представляло собой стихийно сложившуюся в раннем Средневековье агломерациюprotoфеодальных государств и городов Северной и Северо-Восточной Европы, включавшую территории славянских свободных общинников, балтийских и финских племен и скандинавских викингов-дружинников. Путем из *Варяг в Греции* Балтийская цивилизация была соединена с эллинистически-христианским Средиземноморьем. В числе предшественников Санкт-Петербурга – Старая Ладога на Волхове, первоначальная (в 862–864 гг.) столица Руси Рюрика, а также в более позднее время, в XIII–XV вв., Новгород с подконтрольными ему территориями финских народностей (корелы, ижоры, води). Эти земли часто управлялись совместно новгородской администрацией и местной знатью через систему построенных Новгородом крепостей – Корелу (Кексгольм), Орешек (Нотебург-Шлиссельбург) и Копорье. В этой своеобразной средневековой федерации отрабатывались модели межэтнических и межкультурных связей, которые в дальнейшем, с основанием Петербурга, были перенесены на народы и культуры, включившиеся в многонациональный петербургский синтез (Лебедев Г.С., 2000; Спивак Д.Л., 2003а).

Именно в этом регионе, в зоне славяно-финско-скандинавских контактов, возникло название *Русь*, которое первоначально было не этнонимом, а назвианием социальной группы. Вероятно его происхождение от древнескандинавского *rofss*, бытавшего у разных народов на Балтике для обозначения *войска, дружины, команды боевого корабля*.

Впервые зафиксированное в источниках IX в., на самом раннем этапе слово *русь* у славян также обозначало скандинавскую княжескую дружину. В XI в. это название было перенесено на надплеменной дружинно-административный и торговый слой, консолидировавшийся вокруг князя независимо от этнического происхождения. Только в начале XII в. термин *русь* утратил социальное содержание и стал применяться для обозначения государства, возглавляемого этим феодальным слоем, в дальнейшем получив развитие как этническое и территориально-государственное понятие (Данилевский И.Н., 2001).

Созданный на фундаменте средневековой Балтийской цивилизации, Петербург с начала своего существования стал средоточием политических, экономических и культурных связей России с другими странами мира, прежде всего европейскими.

Это нашло выражение и в составе населения города, и в происходивших в городе этнодемографических процессах. Удельный вес выходцев из-за границы всегда был среди жителей Петербурга весьма значительным, хотя во все периоды развития в нем численно преобладало русское население. Инонациональное население всегда было неоднородным и включало представителей самых разных национальных и конфессиональных групп. К 1900 г. в Петербурге, согласно переписи населения, из 1000 жителей 874 человека считали своим родным языком русский, 35 – немецкий, 32 – польский, 13 – финский, 9 – еврейский (цит. по: Вербловская И.С., 2003, с. 26).

Этнические и конфессиональные различия играли в Петербурге как дифференциирующую, так и консолидирующую культурную роль. Так, религия и церковь в целом способствовали сохранению внутриобщинной сплоченности. В городе существовали приходы, обособленные по этнолингвистическому принципу, – например немецкие, немецко-латышский, эстонско-немецкий, финский и шведский лютеранские, англиканский и др. В богослужебной практике они использовали соответствующие языки и в повседневной жизни являлись как бы опорными пунктами, которые сохраняли и воспроизводили особые этнокультурные традиции. Однако наряду с этим в Петербурге происходило интенсивное смешение внутри нерусской среды, приводившее к возникновению определенной суперэтнической прослойки, «общезападноевропейской» по происхождению и культурному облику. Параллельно шел процесс срастания иностранных по происхождению жителей с русской,

православной по религии средой. В целом значительное численное преобладание русского населения вело к большей или меньшей асимиляции населения нерусского.

Этому способствовал и характер расселения этнических меньшинств в Петербурге, который в целом носил дисперсный характер, — представители разных по происхождению групп горожан не только общались друг с другом в разных сферах жизни, но и жили бок о бок. Такая ситуация не могла не отразиться на самосознании и ментальности петербуржцев. Если представители европейских народов именно здесь ощущали свою надэтническую общность, в русской петербургской среде также сложился особый тип мировосприятия, характеризовавшийся открытостью и России, и внешнему миру. В этих условиях столица Российской империи стала к началу XX в. пространством взаимовлияния и синтеза различных, преимущественно европейских культурных традиций — своего рода *Европой в миниатюре*, уникальным опытом общеевропейского мира, включавшего в себя и Россию (Сахаров И.В., 2000). При этом город являл собой образ Европы мирной и гармоничной и «сам превращался в некий знак единства Европы» (там же, с. 143).

Итак, основные компоненты петербургской культуры, взаимовлияние которых характеризовало Балтийский регион Восточной Европы еще в допетербургский период, — это русский, финский и скандинавский (преимущественно шведский). К ним с самого начала основания города присоединился, конечно, весьма заметный немецкий элемент. Эти компоненты составили субстрат петербургской культуры, вошли в мифологию города. Они прослеживаются в разных знаковых системах его семиосферы — в фольклоре, архитектуре, живописи и в петербургском тексте русской литературы.

Далее будут рассмотрены эти три составляющие поликультурной семиосферы города, причем в период до 1917 г., так как это время знаменует собой конец Петербургского периода истории и его культуры.

**Финны и финское влияние** находятся в кругу данной темы в особом положении, поскольку город возник на территории, на которой издавна жили финноугорские племена. Если население севернее новой столицы было практически полностью финноугорским, то ее южный регион характеризуется смешанным славяно-финским населением и культурой. Это относится, например, к району Гатчины, где выросла няня Пушкина Арина Родионовна Яков-

лева, и к Ижорскому плато, где находилось имение Рерихов Извара. Н.К. Рерих с детских лет знал окрестности Извары и местные предания. Позднее он стал заниматься раскопками и здесь же написал свои первые картины на исторические темы, в которых северные впечатления очевидны.

Финские легенды и поверья, приметы финского пейзажа вошли в петербургскую мифологию с первых дней основания города, составив ее своеобразный субстрат, и позднее получили образное, символическое переосмысление в петербургском тексте русской литературы и других знаковых системах семиосферы (Спивак Д.Л., 2003а, ч.1).

Так, существует легенда раннего происхождения (приурочена к 1701 г., то есть к окончанию времени шведского господства в Приневье) о том, что в ночь под Рождество местные жители на месте будущего Санкт-Петербурга увидели яркий свет — горела одна из ветвей большой сосны. После того, как ветвь срубили, видение прекратилось. Сюжет, приведенный в рукописи «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга», хронологически близкой ко времени описываемых событий, перекликается с мотивом света на чудесном дереве, встречающимся в финском эпосе «Калевала». С этой сосной связывается другая петербургская легенда — о дереве, срубленном по приказу Петра I на Троицкой площади, дабы прекратить слухи о надвигающемся наводнении, которое должно было начаться тогда, когда вода дойдет до памятной зарубки. Это место было внесено в число сакральных: именно здесь была построена первоначально церковь образа Казанской Божией Матери, где хранилась эта икона, считавшаяся покровительницей дома Романовых, лишь позднее перенесенная в Казанский собор. Один из важнейших монументов-символов Петербурга, Медный всадник, несет финский элемент в своем фундаменте. Его постамент, называемый *Гром-камнем* и найденный в северном пригороде близ Конной Лахты, представляет собой гигантский валун, расколотый в старые времена молнией. Такие камни считались священными у местного населения, на них жрецы приносили богам жертвы, причем часто такой жертвой был конь.

В русскую литературу легенды и природа Финляндии стали входить в 20–30-х годах XIX в. Здесь они получили метафизическое переосмысление и приняли участие в создании мифологем петербургского мифа и петербургского текста. Среди мифологем, формировавшихся в том числе через осмысление близости Финляндии, ее

традиций и пейзажей, – такие мотивы петербургского текста, как **фантасмагоричность и иллюзорность Петербурга**, эсхатологический мотив **предстоящей гибели города** в болоте или от наводнения, **мифологема белых ночей**, а также мотив **Северного пути**, за которым либо гибель, либо возрождение-преобразование.

Одним из первых входит в русскую литературу мотив финского колдовства: особое место в этом ряду занимает повесть В.Ф. Одоевского «Саламандра», менее известны историческая повесть Ф.В. Булгарина «Падение Вендена» и роман Н. Гречи «Черная женщина». Последний открывает в русской литературе тему Токсово – ближайшего к Санкт-Петербургу центра финского населения, расположенного на северо-востоке от города и ставшего позднее дачным поселком. Пейзаж этой местности, изобиловавшей озерами, холмами и уроцищами, издавна связывался с нечистой силой. Тема Токсово, продолженная через столетие (в 1929 г.) К. Вагиновым в романе «Труды и дни Свистонова» и ближе к нашим дням – А. Битовым в повести «Дачная местность», неизменно выводит героев и читателей на размышления о смысле жизни и смерти, на переживание чувств иллюзорности реальности и присутствия рядом потусторонних сил.

Связан с финскими преданиями и мотив создания города русским царем на воздухе над болотом, который излагается в «Саламандре» В.Ф. Одоевского старым финном, причастным колдовским тайнам. Мифологема *финского болота* вообще укрепилась в петербургском тексте русской литературы и в петербургской мифологии как осмысление почвы города, которая в любой момент может его поглотить или же «выбросить» наверх некое губительное злое начало. Однако в повести Одоевского болото не принимает города построенного, но держит на себе город выкованный. Этот мотив находит параллель в мифе о начале кузнецкого дела в «Калевале».

Общий знаменатель этих мотивов – *тайна*, тема которой проходит через весь петербургский текст, начиная от «Медного всадника» и «Пиковой дамы» А.С. Пушкина, «петербургских повестей» Н.В. Гоголя вплоть до поэзии и прозы Серебряного века. Эта тема выходит за грани дореволюционной культуры и продолжает осмысляться литературой и в дальнейшем, в том числе в эмиграции, как, например, в прозе И.С. Лукаша.

Мотив тайны может рассматриваться не только как одна из тем петербургского текста, связанная многочисленными нитями с другими

его мотивами (Топоров В.Н., 2003), но и как объединяющая основа петербургской поэтики, главный движущий механизм ее сюжета. Тайна организует не только прозаические тексты, в которых присутствует и осмыслиается феномен Петербурга, но и поэзию, например, текст «Поэмы без героя» и других стихов А.А. Ахматовой. Тайна, как нечто в принципе неразрешимое, часто возникает в петербургском тексте на пересечении мотивов преступления и безумия (Иванова Н.Б., 2000).

Из других финских мотивов можно назвать тему Карельского перешейка и природы Южной Финляндии, вошедшую в русскую литературу на рубеже XX в. и также получившую метафизическое переосмысление в мотиве мистического переживания, предчувствия духовного перелома. К этому ряду относятсяцикл «На Сайме» В. Брюсова, стихи В.С. Соловьева и О.Э. Мандельштама, посвященные этому же озеру, стихи И. Анненского «То было на Валлен-Коски». В более позднее время, уже в 50-х годах, было написано стихотворение А.А. Ахматовой из цикла «Шиповник цветет», где есть строки:

«Живу, как в чужом, мне приснившемся доме,  
Где, может быть, я умерла,  
Где странное что-то в вечерней истоме  
Хранят для себя зеркала».

Последние строчки имеют также следующий вариант:

«...И, кажется, тайно глядится Суоми  
В пустые свои зеркала»

(цит. по: Спивак Д.Л., 2003а, с. 160–161).

Близость и влияние Финляндии прослеживаются не только в литературном петербургском тексте. Оно заметно также в архитектурном образе города. Облик центрального Петербурга во многом определен гранитом, который в больших количествах завозили для этой цели из Финляндии. Для финнов этот камень, называемый ими *graniitti*, – не только часть ландшафта и материал для строительства, но один из важнейших элементов природы, который видится как символ стойкости, способный передавать это свойство человеку. Финский камень не только стал постаментом для Медного всадника и сфинксов у Академии художеств, но и «одеждой» набережных Невы («*в гранит оделася Нева*» сказано в «Медном всаднике»). Колонны из гранита стали вертикальными доминантами города, как Александровская колонна, или частями самых величественных и символически значимых зданий, как, например, колонны Исаакиевского собора.

Гранит широко использовался также при строительстве зданий в стиле «северного модерна», определившего облик некоторых районов города на рубеже XIX–XX вв. Петербургский «северный модерн», родственный поискам архитекторов северных стран, был ответвлением модерна, связанным именно с Финляндией, при этом проектировали здания в стилистике финского модерна русские архитекторы, такие как А.Ф. Бубырь и Н.В. Васильев. Дом на Стремянной улице, 11, называемый «домом архитектора Бубыря», является наиболее ярким образцом финского влияния в архитектуре этого направления (Володин Б.Ф., 2000).

Влияние духа Финляндии на рубеже веков усилилось в связи с тем, что многие представители петербургской интеллигенции стали выезжать на летний отдых в Южную Финляндию, в частности на Карельский перешеек, что стало возможным после строительства в этом районе ветки железной дороги.

К этому можно добавить многочисленные бытовые контакты русских и финнов в Петербурге и его регионе. Так, довольно многочисленная финская община фактически имела в городе свой центр на Большой Конюшенной, который стал складываться в начале XX в. и обладал собственной инфраструктурой, включавшей в себя самые разные культурные организации и учреждения, — лютеранскую консисторию и совет прихода при церкви, библиотеки, изательства, училища. Еще в начале 30-х годов в Ленинграде велись радиопередачи на финском языке и работал финский театр. Это естественное течение жизни прервалось с началом репрессий в середине 30-х годов, за которыми последовали выселение и уничтожение многих людей, а затем и Зимняя война.

В целом исследования на эту тему позволяют сделать вывод о том, что влияние Финляндии на культуру Санкт-Петербурга носит глубинный характер, происходит на уровне его почвы в прямом и образном смысле слова. «По отношению к финскому Петербургу можно сказать следующее: тот, кто хочет познать Финляндию, должен познать и зарубежный по отношению к этой стране город с финским названием *Pietari*» (Володин Б.Ф., 2000, с. 408).

Влияние шведской культуры на петербургскую культуру и петербургский миф было двоякого рода: во-первых, оно обуславливалось контактами в области политики, торговли, повседневной жизни и всей ситуацией в Ингерманландии, которая несколько веков

жила в обстановке военных конфликтов и смены русского и шведского правлений. Помимо этого на «петербургский текст» оказал большое влияние мистический элемент шведской культуры.

Скандинавская магическая культура вступила в контакт со славянской именно в Северной Руси, в районе Ладоги, еще во второй половине IX в., после призыва Рюрика на княжение.

В начале XIV в. шведское войско заложило в устье Большой Охты крепость Ландскrona, оказавшуюся первым регулярным укреплением европейского типа на месте будущего Санкт-Петербурга, которым вскоре овладели новгородцы. О том, какое значение придавали шведы этой крепости и этому неосвоенному краю, говорит само название: *Landskrona* переводится как *венец земли*. Через четыре века, после заключения Столбовского мира, по которому Приневье отходило к Швеции и Россия теряла выход к Балтике, на месте впадения Охты в Неву (т.е. практически в том же месте) была построена крепость *Ниеншанц* и при ней — город *Ниен*, непосредственные предшественники Петербурга. Первая часть этого названия заимствована из языка финноугорских обитателей края и родственна топониму *Нева*: *neva* в финском языке означает *река с болотистыми берегами*. Вторая часть происходит от германского корня, который в шведском имел вид *skans*, а в немецком *Schanze* — *укрепление*. Население этого торгового города-укрепления было полигетническим, часть жителей говорили по-русски, называя его *Канцы* или *Новый Шанец*. Это были оставшиеся здесь после завоевания этих мест шведами православные или бежавшие сюда староверы. Близки были духу будущей российской столицы также образ жизни и атмосфера Ниеншанца — это был пропитанный духом меркантилизма торговый порт со своими верфями, множеством приезжих, говоривших на разных языках, и со свободой вероисповедания.

Уже с самого основания Санкт-Петербурга можно проследить определенную преемственность в устройении и осмыслиении его пространства между шведами и русскими. Так, схема взаимного расположения крепости и города в раннем Петербурге близка к тому, как были расположены друг к другу по разным берегам Охты крепость и город в Ниеншанце: в обоих случаях город тяготел к правому берегу Невы и отделялся от крепости неширокой протокой. Другой пример — планировка Летнего сада, которая продолжила структуру сада, располагавшегося на этом месте в шведском поместье Коносгоф.

Петр I, придававший исключительное значение обустройству Летнего сада, нанял для его поддержания и развития шведского садовника по имени Шредер (Лихачев Д.С., 1991).

По мнению современников основания Петербурга, в Ниене после взятия его русскими практически не осталось шведов, остались только простолюдины финского происхождения, быстро смешавшиеся с новым русским населением. Однако местная традиция трактовала эту ситуацию иначе, подчеркивая шведскую предысторию новой столицы и шведско-русские контакты через ряд топонимов и связанных с ними преданий. Например, долгое время в Петербурге было в ходу именно шведское название острова, на котором возникла крепость Санкт-Петербург, как первоначально называлась Петропавловская крепость, — *Люст Елант* и его перевод *Веселый остров*. Предание говорит, что у шведских офицеров этот остров был популярен как место пикников во время лодочных прогулок. Финны же называли его *Енисаари*, то есть *Заячий остров*. По разному объясняют этимологию и местная легенда также происхождение названия реки Карповки. Этимологи считают наиболее вероятным его связь с финским *korpi лес, чаща*. Однако по легенде топоним произошел от фамилии русского офицера Карпова, за которого вышла замуж молодая шведка — наследница мызы, находившейся на этой реке (Спивак Д.Л., 2003а, ч. 2).

Шведскую тему интерпретируют и те народные предания, в которых негативно отражена деятельность Петра Великого. Одно из них утверждает, что Петр — подмененный двойник, а настоящий русский царь был заточен в столб во враждебном городе Стекольном, как тогда называли в России Стокгольм (Чистов К.В., 1967). *Мотив заточения в столбе* известен в шведском фольклоре, в том числе применительно к ярлу Биргеру — знаменитому шведскому полководцу, основателю Стокгольма и Ландскроны (Спивак Д.Л., 2003а, ч.2).

Шведская тема присутствует в монументальном тексте Петербурга. Монументов, специально посвященных победам над шведами, в городе почти нет, однако относящаяся к этой теме символика, требующая особых фоновых знаний и интерпретаций, присутствует в ряде памятников. Здесь особое место занимает конная статуя Петра I, установленная при императоре Павле перед Михайловским замком: на поверхности его постамента размещены барельефы, посвященные победам русской армии над шведской при Полтаве и

Гангуте. В их сюжетах кодированы Земля и Вода, покоренные русским царем и дополненные астрологическими данными: Рак и Лев как знаки зодиака, царившие в дни этих сражений. Тема русско-шведских войн присутствует и в скульптурах Летнего сада.

В новый, петербургский период истории образованные русские свободно знакомятся со шведской культурой и переносят ее элементы в контекст своей жизни и в петербургский текст литературы. Здесь значимыми оказываются прежде всего *мистические направления шведской духовной культуры*, игравшие большую роль на петербургской почве с ранних этапов петербургского периода до самого его окончания.

Со времени правления Екатерины II российскому дворянству, в том числе и наиболее приближенным к престолу его представителям, хорошо была известна «шведская система» масонства. Для нее характерны повышенный мистицизм, а также консерватизм и строгая дисциплина. Многие придворные и знаменитые современники императрицы были посвящены в высокие градусы (степени) этой системы. На рубеже 70-х и 80-х годов XVIII в. это положение вызвало недовольство Екатерины, поскольку, в соответствии с директивами Стокгольмской ложи, петербургские масоны должны были выполнять все распоряжения Стокгольма; к тому же ходили слухи о том, что наследник Павел Петрович был принят в масоны шведского обряда. Масонство, в том числе и шведского образца, временно возродилось при Александре I, когда его ответвления фактически играли роль зародышей политических партий. Впоследствии оно, как и другие тайные общества, было запрещено в России в 1822 г., однако «...историки петербургского масонства прослеживают вплоть до 1860-х годов сохранение некоторых связей, поддерживавшихся его деятелями со Стокгольмом» (Спивак Д.Л., 2003а, с. 275).

Определенное воздействие на петербургскую культуру и петербургский текст оказала теософия крупнейшего шведского мистика XVIII в. Э. Сведенборга, которую изучали, в частности, и русские масоны.

Эпиграф из Сведенборга предпослан 5-й главе «Пиковой дамы» А.С. Пушкина – одному из основополагающих для петербургского текста произведений. Влияние Сведенборга на Пушкина не было прямым. Однако оно проявляется себя в тот период его творчества (в начале 30-х годов), когда в него входят темы таинственных

явлений, встречи живого и неживого, разрушительной для неподготовленного человека, и в конечном счете тема проницаемости границы двух миров — одна из ведущих тем петербургского текста.

Ф.М. Достоевский, продолживший петербургский текст своими романами, читал Э. Сведенборга в переводе А.Н. Аксакова — знатока учения шведского мистика, с которым он был и лично знаком. В число тем, объединяющих Достоевского и Сведенборга, входит такое важное для обоих понятие, как *Новый Иерусалим*.

Это понятие восходит к Откровению св. Иоанна Богослова и относится ко времени после конца света: «*И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба*» (21: 1–2). В романе «Преступление и наказание» это понятие упоминается Раскольниковым во время его первой встречи с Порфирием Петровичем: на вопрос следователя о том, верит ли он в Новый Иерусалим, Раскольников отвечает положительно. Э. Сведенборг называл так свою Новую церковь, которой, как он полагал, предстоит сойти в греховный мир и изменить его, установив «царство Божие» путем религиозного и социального действия. Ф.М. Достоевский также верил, что мир, несмотря на кажущуюся безнадежность, доступен преображению. Конечно, в толковании этого понятия Сведенборгом и Достоевским возможны расхождения, однако Достоевский был знаком с трактатом Сведенборга «О небесах», в котором говорится о Новом Иерусалиме, и голос Сведенборга можно считать одним из тех, с которым перекликаются размышления и мечты Достоевского.

В 30-х годах XIX в. интерес к северным преданиям и сагам, к скальдической поэзии возник в русской литературе романтического направления, где начал развиваться мистико-фантастический жанр на скандинавском, прежде всего шведском, материале. К этому времени уже сложилось представление о культурной и духовной общности северных народов — скандинавов и славян. Новому интересу к скандинавской культуре во многом способствовала новая Русско-шведская война 1808–1809 гг., в результате которой к Российской империи была присоединена Финляндия, где были памятники шведского Средневековья. Из литературных произведений этого времени можно назвать «Остров Борнхольм» Н.М. Карамзина и «Отрывок из писем русского офицера о Финляндии» К.Н. Батюшкова.

Это стало одним из оснований «нордического мифа» Петербурга, согласно которому город духовно связан с севером и полюсом.

Этот миф на протяжении XIX – начала XX в. сформировал ряд мифологем. Для первых десятилетий его развития характерна ассоциация шведов с наводнениями, грозящими Петербургу. В повести В.Ф. Одоевского «Саламандра» присутствует не только финская, но и шведская тема. У основания города, по рассказанной в повести легенде, три первоэлемента: *финское болото, шведские волны* (шведский король в споре с русским царем напускает на город наводнение) и *петровский камень*, символизирующий преобразующее начало. Многие прозаические и поэтические произведения этого времени воспроизводят данную мифологическую структуру, где море выступает в союзе со шведами, например стихотворение С. Шевырева «Петроград» и историческая повесть К. Масальского «Черный ящик».

В период Серебряного века одним из ключевых в петербургской поэзии стал мотив *пути на север*, принадлежащий к архетипам «нордического мифа». Он может быть сформулирован следующим образом: в метафизическом смысле севернее Петербурга ничего нет, там – страна либо холода, мрака и смерти, либо же полного духовного преображения. Ощущение духовного родства с севером, с полюсом, сплетение мотивов смерти и преображения маркируют «нордический миф» в творчестве М. Волошина, В. Брюсова, Вяч. Иванова, в «Поэме без героя» А. Ахматовой. Центральные для этой темы литературные тексты – поэма А. Блока «Ночная фиалка» и его стихотворный цикл «Снежная маска», в которых архетип *пути на север* связан с глубокими прозрениями о судьбе Петербурга и России. Скандинавское влияние подтверждается и тем, что во время работы над «Ночной фиалкой» А. Блок был увлечен ибсеновским «Пер Гюntом».

В этот же период «нордический миф» проявляет себя и в живописи – в северных пейзажах мирикусников. Таким образом, скандинавское влияние оказывается довольно сильным в петербургской культуре во все периоды ее развития, в том числе и в пору наивысшего расцвета.

Одно из ведущих влияний на петербургскую культурную традицию оказала **немецкая культура**.

Немцы, в отличие от славян и финских племен, не участвовали в раннем заселении приневского края, однако сразу после основания

города в него устремился поток переселенцев из остзейских земель и германских государств, как и из Москвы. Довольно скоро они составили в Санкт-Петербурге особую этническую группу, которая была очень заметна по своей численности и влиянию на разные области жизни города. Петербург, продолжая традиции новгородско-ганзейских связей и Немецкой слободы в Москве, с самого начала своего существования создал благоприятные условия для русско-немецкого культурного взаимодействия. Немецкие переселенцы в петровские времена получили широкие культурные и экономические привилегии, в том числе возможность свободно организовывать промышленно-торговые объединения, право распоряжаться своими капиталами, а также право свободного исповедания веры.

Немцы вместе с голландцами и другими выходцами из северных протестантских стран образовали собственную слободу, расположенную на левом берегу Невы вблизи от Адмиралтейства, которая надолго осталась местом компактного проживания петербургских немцев, наряду с Васильевским островом и Казанской частью. В первые десятилетия развития города намечался раздел между его правобережной частью, население которой было преимущественно русским, и левобережной, немецко-голландской. Однако были созданы и условия для свободного смешения жителей Петербурга независимо от этнического происхождения и вероисповедания. Позднее, в 60-х годах XVIII в., немецкое население Петербурга дополнилось колониями крестьян, основанными в пригородах. В результате эта этническая группа оказалась представленной в российской столице практически всеми сословиями.

Архитектурный текст раннего Петербурга, хотя и был сознательно ориентирован Петром I на нидерландскую традицию, в действительности представлял собой типичный облик торгового города-порта Северной Европы — принадлежности «нижненемецко-голландской цивилизации» (Спивак Д.Л., 2003б, с. 186). Роль архитектурных доминант в нем с самого начала стали играть шпили первых храмовых сооружений, таких как Троицкий и Петропавловский соборы, вид которых связывался в понимании русских людей с лютеранской кирхой и немцами. В 1730 г. было освящено здание главного лютеранского храма Петербурга — кирхи святых апостолов Петра и Павла на Невском проспекте. К концу XVIII в. в новой российской столице были построены еще две большие лютеранские церкви —

св. Анны и св. Екатерины. Таким образом, все три носили имена царствующих особ, чем составляли знаковую параллель главным православным храмам, также кодирующим царское имя, — Петропавловскому и Исаакиевскому соборам.

Петербургский текст русской литературы полон образами немцев, а также явными и скрытыми аллюзиями к Германии. Эти образы трактуются авторами по-разному, однако их общая основа в реальной жизни — постоянное присутствие рядом немцев, культуры и духа Германии. Немцы-мастеровые, булочники, чиновники, военные, торговцы, квартирные хозяйки, как и представители других социальных слоев и профессий, были частью городской жизни. Общение с ними в быту, в хозяйственных и административных делах не могло, с одной стороны, не наложить отпечатка на жизнь города и ментальность русских петербуржцев, с другой — вело к определенным стереотипам в восприятии образа жизни, поведения и типичных черт характера представителей этой этнической группы.

Так, немецкие булочники появились в Санкт-Петербурге еще во времена Петра I и обосновались в нем довольноочно: с середины XVIII в. они в течение столетия первенствовали в этой сфере деятельности. Соответствующий типаж упомянут в первой главе «Евгения Онегина». Психологический строй немецкого булочника определялся тем, что эта профессиональная группа привезла в Петербург из Германии сохранившуюся со временем Средних веков систему цеховой организации. Эта система предполагала многолетнее ученичество с суровой дисциплиной, что давало в результате высокий професионализм мастеров, трудолюбие, внутрицеховую солидарность, но и привычку к жесткой иерархии и определенную ограниченность.

Свойственная немцам склонность к усердию и прилежному служению нашла выражение в психологическом типе немецкого по происхождению чиновника на российской службе, отличавшегося ментальностью службиста и государственника — честного, усердного, но и слепо преданного самодержавной власти, отождествлявшейся им с Россией. Примером такого типа может служить Александр Христофорович Бенкendorf, шеф корпуса жандармов и начальник III отделения Императорской канцелярии Николая I. В то время дворянское общество и нарождавшаяся российская интеллигенция с презрением относились к подобной службе, однако Бенкendorфа это не смущало.

В XIX в. чиновники немецкого происхождения, в отличие от своих предшественников на царской службе в более ранние времена, уже хорошо владели русским языком, причем их речь, по отзывам современников, отличалась «сверхправильностью», поскольку они изучали язык по нормативным грамматикам. Этим же свойством отличалась выпущенная тогда «Русская грамматика» Н.И. Гречи, немца по происхождению. «Присущая этой грамматике жесткая регламентация живо напоминала читателям “линейную” планировку Петербурга» (Спивак Д.Л., 2003б, с. 269).

В 1727 г., при Екатерине I, в Петербурге была открыта Академия наук, в деятельности которой на протяжении первых двух столетий ее существования ученые немецкого происхождения играли выдающуюся роль. В первое столетие эта роль была доминирующей. Им удалось сохранить ведущее положение в научной жизни Петербурга и после падения режима Бирона — в царствование Елизаветы Петровны, утвердившейся на престоле под лозунгом борьбы с «немецким засильем», и после борьбы «немецкой» и «русской» партий в Академии, протекавшей особенно активно в период этого царствования.

Неоспоримо влияние немецкой литературы и философии, как и образов и стереотипов Германии на русскую литературу всего петербургского периода. Уже в первой половине XVIII в. сложился жанр «петербургско-немецкой оды», оказавшей влияние на М.В. Ломоносова. В это же время в русской поэзии был осуществлен переход к силлаботонической системе стихосложения. Этому во многом способствовали тесные культурные контакты с Германией, где эта система укрепилась ранее.

Позже, на рубеже XVIII–XIX и в начале XIX в., в русскую поэзию вошли мотивы и образы романтизма. Проводником этого направления был В.А. Жуковский, который ориентировался в своем творчестве прежде всего на немецкий вариант романтизма со свойственными ему идеализацией прошлого, интересом к мистическому, чудесному, к потаенным чувствам человека. Эти мотивы проявились в петербургской литературе в 20-х годах, когда был написан ряд историко-авантюрных прозаических произведений на остзейском рыцарском материале. Это — повести Н. Бестужева «Гуто фон Брахт», «Ревельский турнир», «Замок Эйзен» А. Бестужева-Марлинского, «Падение Венденса» Ф. Булгарина. Такой интерес к остзейским землям, ранее принадлежавшим к германскому миру и затем присоединен-

ным к Российской империи, объясняется тем, что они рассматривались как географическое «преддверие» Петербурга и при этом как земли, у которых было свое рыцарское средневековье. Эти повести составили своеобразный *«остзейский текст»* русской литературы, который может рассматриваться как предшествующий петербургскому тексту или даже включенный в его состав.

В одном из основополагающих для петербургского текста произведений, *«Пиковой даме»* А.С. Пушкина, немецкое происхождение главного героя Германна несет знаковый смысл. Он, по выражению Ю.М. Лотмана, «человек двойной природы» (Лотман Ю.М., 1992а, с. 406), сочетающий в себе холодный ум и пламенное воображение, бросающий вызов Року и в то же время стремящийся внести холодный расчет в сферу, где правит таинственное, необъяснимое. Представление о немцах как о людях расчетливых, практических, соблюдающих внешние приличия и все же не своих, а *чужих* и *«других»*, от которых следует ждать подвоха или неприятности, представлено у Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского, у каждого из них, конечно, в соответствии с их собственным художественным миром. У Гоголя в *«Невском проспекте»* действуют два петербургских немца – ремесленники, носящие фамилии немецких писателей-романтиков Шиллера и Гофмана. Именно они устраивают порку русского поручика Пирогова, когда тот решил поухаживать за женой одного из них, тоже немкой. Примечательно, что поручик впервые встречается с ней на Невском проспекте, где, по убеждению автора, ничему нельзя верить, где все только иллюзия и обман. Таким образом, эти петербургские немцы, будучи городскими обывателями, в то же время играют роль «подмастерьев диавола, царящего на Невском проспекте» (Спивак Д.Л., 2003б, с. 297). В *«Преступлении и наказании»* Достоевского петербургские немцы действуют как второстепенные персонажи, например квартирная хозяйка Мармеладовых Амалия Федоровна, или же просто упоминаются, как статский советник Клопшток, не заплативший Соне за шитье и оскорбивший ее. Природа этих персонажей также двойственная: с одной стороны, они формально стараются не нарушать законов, с другой – их действия далеко не безупречны с моральной точки зрения, поэтому в преступлениях и несчастных судьбах героев есть и некоторая доля их вины. К этому можно добавить, что *«петербургский роман»* Достоевского полемически заострен против материалистических позитивистских взглядов немецких ученых. Так, в теории о *«праве на преступление»* человека

«высшего рода», завладевшей умом Раскольникова, исследователи романа установили отсылку к философии крайнего индивидуализма М. Штирнера (там же, с. 329).

Немецкие аллюзии петербургского текста русской литературы XIX – начала XX в., как и влияние на него немецкой философии, – необъятная тема, которая, конечно, не может быть раскрыта в данной работе. Отметим еще, что у деятелей Серебряного века был велик интерес к философии Ф. Ницше и мистицизму Р. Штейнера, как у литераторов более раннего периода к теориям Ф.В. Шеллинга, Г. Гегеля, А. Шопенгауэра. С немецкой культурой и философией были знакомы и символисты, и акмеисты, «немецкие» темы присутствуют в их произведениях часто в связи с самыми острыми вопросами бытия, творчества и социальной жизни. Так, в романе В. Брюсова «Огненный ангел», действие которого отнесено к Германии XVI столетия, обсуждается тема эзотерических учений, исключительно важная для символистов. В «Петербурге» А. Белого террорист Дудкин в разговоре с Николаем Аблеуховым рассуждает о роли ницшеанства в мировоззрении революционеров. А. Блок в записях начала 1918 г. (времени написания поэмы «Двенадцать»), говоря о «страшном шуме», который он слышит в себе и вокруг, упоминает Р. Штейнера в связи с предполагаемой возможностью регулировать мистический опыт. К темам немецкого языка, музыки, литературы не раз обращался О. Мандельштам.

Немецкое влияние ощущимо и в архитектурном тексте Петербурга второй половины XIX – начала XX в. Когда в начале этого периода началась массовая постройка жилых и общественных зданий, архитекторы взяли на вооружение так называемый «кирпичный стиль» – облицовку внешних стен кирпичом, характерную для немецких и австрийских городов. Эти дома возводились в основном на окраине города и не нарушали исторических ансамблей его центра, где доминировали штукатурные фасады светлых тонов. При этом «кирпичный стиль», воплощавший рационалистические тенденции, раньше сформировался и получил более широкое распространение в промышленной архитектуре, чем в гражданской. Это был, по оценке исследователей, «умный выбор»: использование того же строительного материала в последующий период позволило достичь композиционного единства разновременных промышленных построек, и период 1830–1930-х годов представляется исследователям

наиболее значительным в промышленном зодчестве города с художественно-образной точки зрения (Штиглиц М.С., 2000).

Основные стили в архитектуре Петербурга начала ХХ в. – *модерн* и *неоклассицизм*. В разработке этих стилей важную роль сыграла деятельность художественных объединений Мюнхена и Вены, с которыми у российских архитекторов были тесные двусторонние контакты. Например, следы влияния мюнхенского и венского модерна проявляются в облике таких зданий начала ХХ в., как Витебский вокзал и особняк Кшесинской (Сливак Д.Л., 2003б).

В целом в течение двух первых веков существования города в нем сложилась особая петербургско-немецкая культура, которая была важнейшей частью симбиоза разных культурных традиций, сосуществовавших в Санкт-Петербурге. Этот универсум был разрушен революцией 1917 г. и последовавшими событиями, хотя отдельные его составляющие продолжали существовать еще какое-то время, а некоторые дают о себе знать до сих пор, проявляя тенденцию к возрождению.

«По количеству текстов, кодов, связей, ассоциаций, по объему культурной памяти, накопленной за исторически ничтожный срок своего существования, Петербург по праву может считаться уникальным явлением в мировой цивилизации. Одновременно, подобно уникальной петербургской архитектуре, петербургская культура – одно из национальных завоеваний духовной жизни России» (Лотман Ю.М., 1992б, с. 21). При этом следует понимать, что город и его текст ценны еще тем, что они учат – учат тому, что человеческий дух, творчество, вера и верность, открытость способны противостоять распаду, враждебным крайним обстоятельствам, «бездне» (Топоров В.Н., 2003). Это дает надежду на продолжение российской и петербургской культуры, как и диалога культур, в новый период истории страны и города.

### **Список литературы**

- Вербловская И.С.* Горькой любовью любимый: Петербург Анны Ахматовой. – СПб.: Изд-во Журнал «Нева», 2003. – 352 с.
- Володин Б.Ф.* Санкт-Петербург как Pietari // Феномен Петербурга: Труды Междунар. конф., состоявшейся 3–5 нояб. 1999 г. во Всерос. музее А.С. Пушкина. – СПб., 2000. – С. 400–410.
- Данилевский И.Н.* Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.). – М.: Аспект Пресс, 2001. – 339 с.

- Иванова Н.Б.* Загадка и тайна в литературе «петербургского стиля» // Феномен Петербурга: Труды Междунар. конф., состоявшейся 3–5 нояб. 1999 г. во Всерос. музее А.С. Пушкина. – СПб., 2000. – С. 96–102.
- Лебедев Г.С.* Феномен Петербурга в региональном аспекте // Там же. – С. 59–72.
- Лихачев Д.С.* Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. – СПб., 1991. – 371 с.
- Лотман Ю.М.* «Пиковая дама» и тема карточной игры в русской литературе начала XIX в. // Лотман Ю.М. Избранные статьи. – Таллинн, 1999а. – Т. 2. – С. 389–415.
- Лотман Ю.М.* Семиотика Петербурга и проблемы семиотики города // Лотман Ю.М. Избранные статьи. – Таллин, 1999б. – Т. 2. – С. 9–21.
- Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Отзвуки концепции «Москва – третий Рим» в идеологии Петра Первого: (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко) // Лотман Ю.М. Избранные статьи. – Таллин, 1993. – Т. 3. – С. 201–212.
- Сахаров И.В.* Столица Российской империи как прообраз объединенной Европы: Взгляд этнодемографа и генеалога // Феномен Петербурга: Труды Междунар. конф., состоявшейся 3–5 нояб. 1999 г. во Всерос. музее А.С. Пушкина. – СПб., 2000. – С. 143–151.
- Снивак Д.Л.* Метафизика Петербурга: Начала и основания. – СПб.: Алетейя, 2003а. – 480 с.
- Снивак Д.Л.* Метафизика Петербурга: Немецкий дух. – СПб.: Алетейя, 2003б. – 448 с.
- Топоров В.Н.* Петербург и «Петербургский текст русской литературы»: (Введение в тему) // Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы: Избр. труды. – СПб.: Искусство, 2003. – С. 7–118.
- Чистов К.В.* Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв. – М.: Наука, 1967. – 341 с.
- Штиглиц М.С.* Стиль в промышленной архитектуре Петербурга: (1830–1930-е гг.) // Феномен Петербурга: Труды Междунар. конф., состоявшейся 3–5 нояб. 1999 г. во Всерос. музее А.С. Пушкина. – СПб., 2000. – С. 237–245.